П. С. КОГАН

# ПРОЛОГ

мысли о
литературе
и жизни

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Государственное Издательство.**
**МОСКВА—ПЕТРОГРАД.**
Москва, Софийка, уг. Рождеств. д. 4|8. Тел. 1-51-21.

## ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. КРИТИКА.

**Воронский, А.** На стыке. Литературные силуэты. Стр. 351. Ц. 1. р.

**Гаррис.** Уголок Пушкина. С фотограф. снимками. Стр. 106. Ц. 50 к.

**Гершензон, М. О.** История, молодой России. Стр. 318. Ц. 1 р. 50 к.

**Гзелль, П.** Беседы Анатолия Франса. Под. ред. Н. Радлова. Стр. 217. Ц. 70 к.

**Долгов, Н.** Островский. Жизнь и творчество (1823—1923 г.). Стр. 272. Ц. 75. к.

**Дневник Пушкина** (1833—1835). Под. ред. и с объяснит. примеч. Б. Л. Модзалевского. Стр. 300. Ц. 2. р. 50 к.

**Ермаков, И. Д.** Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. Стр. 193. Ц. 1 р. 25 к.

**Коган, П. С.** Очерки по истории западно-европейских литератур. Т. I. Стр. 376. Ц. 1. р. 25 к.

**Его же.** Очерки по истории западно-европейских литератур. Т. II. Стр. 405. Ц. 1 р. 25 к.

**Его же.** Очерки по истории древних литератур. Т. III. Греческая литература. Стр. 354. Ц. 80 к.

**Луначарский, А. В.** Этюды. Сборник статей. Стр. 342. Ц. 1. р. 50 к.

**Мандельштам, Р. С.** Художественная литература в оценке русской марксистской критики. Ред. и предисл. Н. К. Писканова. Стр. 95. Ц. 35. к.

П. С. КОГАН

# ПРОЛОГ

мысли о
литературе
и жизни.

второе
издание

1 · 9 · 2 · 3

Государственное Издательство

Москва—Петроград

Главлит № 12828.
Гиз № 4425 Москва Тираж 7000.

1 Гос. Нотопеч. „Им. М. И. Глинки“ Музык. Сектора Гиза, Б. Спасская, 6.

Посвящается

Н. А. Н.

# Предисловие к 1-му изданию.

Эту книгу я назвал прологом, потому что она служит преддверием к ряду других книг.

Если обстоятельства не помешают, я буду периодически выпускать в свет критические обзоры текущей литературы.

Ниже читатель найдет принципы, которыми я буду руководствоваться в своих обзорах.

Авторов, сочувствующих этим принципам, прошу не отказать мне в присылке своих произведений, или хотя бы сообщений о выходе их в свет по след. адресу: Петроград. В. О., 4 линия, 39, кв. 43.

Петроград, 1915, сентябрь. *П. С. Коган.*

# Предисловие к настоящему изданию.

Первое издание этой книги вышло восемь лет тому назад. Оно породило довольно обширную литературу. Если не считать двух-трех сочувственных заметок, все мои критики не скрывали своего возмущения. Многие буквально обливали грязью не только книгу, но и ее автора. Даже такие сериозные и обычно корректные писатели, как покойный проф. Батюшков, Горнфельд, Лундберг и др., вышли из себя и переступили границы спокойного обсуждения высказанных здесь мыслей. Я не говорю уже о многочисленных отзывах рецензентов, которые на всякую непривычную мысль смотрят, как на материал для своих острот и хлестких словечек.

В настоящем издании я ничего не изменил. Мне кажется, что пережитые годы сделали эти суждения более приемлемыми в наши дни.

Война и Революция помешали мне осуществить план, о котором говорится выше.

Теперь препятствия временно устранены, и я, повидимому, сумею сделать то, о чем мечтал восемь лет тому назад. Первый обзор современной литературы уже подготовляется мною к печати и осенью выйдет в свет.

Москва, 1923, июнь. *П. С. Коган.*

# ВВЕДЕНИЕ.

Самое гениальное поэтическое произведение не может быть гениальным, если оно никем не прочитано.

Поэзия есть высшая форма познания мира, но поэты—не обязательно высшие люди.

Если бы мы могли представить себе поэта, абсолютно убежденного в том, что он не найдет ни одного слушателя или читателя,—такой поэт не мог бы написать ни одного стиха.

Душа поэта, как и душа всякого человека, невыразима в словах. Об этом свидетельствуют все поэты. Слово выражает только то, что обще многим, а не то, что принадлежит одному исключительно. Литературное произведение есть акт общественный, а не индивидуальный.

Понять художественное произведение—это значит понять его читателей.

Количество и качество художественных образов и эмоций, имеющих объективную ценность, представляет для каждого данного состава общества величину определенную и подвергается лишь незначительным колебаниям в зависимости от случайных причин, в роде рождения или смерти отдельного поэта.

История литературы есть история прочитанного, но не история написанного.

# О ГЕНИИ И ВОЖДЕ.

Талант есть великая посредственность. Гений—величайшая.

Обыкновенно гении кажутся нам властителями умов, как политические деятели и лидеры партий кажутся вождями масс. Впрочем, о последних уже начинают догадываться, что сила их в их приспособляемости, в их из ряду вон выходящей посредственности. О поэтах это знают еще очень немногие.

Консул Береник говорит: «Попытайся я хоть на шаг опередить господствующие здесь взгляды и стремления общества,—власти моей конец. Мы, так называемые столпы общества,—орудия общества и больше ничего». (Ибсен: «Ст. общ.»).

О том же говорит в «Мистериях» Кнут Гамсун: «Для Гладстона величай-

шая истина—дважды два четыре, поэтому Гладстон всегда прав; все учение Толстого не выше выкриков «Армии спасения».

Ибсен и Гамсун правы. Но как не видят они, что нет гениев другого типа и нет вождей другого типа? Толстой и Береник—типы. Все гении, в том числе Ибсен и Гамсун, сами велики только силой своей приспособляемости.

Гений без среды, к которой он приспособляется, немыслим. Иногда среда встречает враждебно гения. Но это значит одно из двух: или гений попал не в ту среду, которой выражением он служит; или между средой и гением возникло недоразумение, которое рано или поздно выяснится. Но среда всегда есть. Без среды нет гения.

Самая бессмысленная фраза: «гений одинок», или «гения не понимают». Если бы это была правда, то как бы мы в конце концов узнали гения?

Если гения преследуют современники, или вернее, часть их (в истории не было случая, чтобы гения не признал

ни один из современников) и если его оценит потомство, или, вернее, часть потомков (в истории не было поколения, в котором бы все поголовно признавали даже «общепризнанного»—нелепое слово—гения),—это значит, что сила приспособляемости гения была исключительно велика; и нужен был ряд поколений, чтобы образовалась достаточно большая масса, срединным выражением которой он служит.

Есть таланты разной величины но нет талантов, сила которых заключалась бы в борьбе с средой, а не в приспособляемости к ней.

Пошлый в прямом смысле значит тот, кто пошел или способен пойти по рукам.

Наиболее пошлый тот, кто носит в себе способность пойти по рукам наибольшего количества лиц.

Гениальнейшее творение—самое пошлое творение.

Выражение: «люди — братья» — величайшее выражение, которое когда-нибудь было сказано. Оно же—самое пошлое выражение.

В этом нет ничего обидного: чем больше людей находят в тебе себя, тем, может быть, выше ты.

Величайшее существо, когда-либо являвшееся миру,—Христос или те слова, которые собраны под этим именем.

Мах говорит: «Целью всей естественно-научной работы является приспособление наших мыслей к фактам действительности». То же можно сказать о поэтической работе.

## О ПОЭТЕ.

Не имеет смысла выражение: «Верхарн — поэт», или: «Верхарн — не поэт».

Нет ни одного поэта и ни одного непоэта, потому что нет ни одного человека (даже среди слывущих за величайших поэтов), который бы мыслил только образами; и нет ни одного человека (даже среди слывущих за неисправимых прозаиков), который бы никогда не мыслил образами. Пожалуй,

еще можно сказать: «он в данном случае поэт» или «он в данном случае не поэт».

Быть поэтом (если уже употреблять это выражение) значит быть в известном состоянии.

Во всяком случае быть поэтом не значит обладать особым свойством души или особым даром, отсутствующим у других людей,

Талант есть процесс, но не качество.

Любите поэзию без поэтов.

Наслаждайтесь образами, свободные от того, что мешает этому наслаждению.

Одна из печальных привычек—печатать собрание прекрасных образов под фамилией того или другого автора.

Эта укоренившаяся привычка заставляет непременно в одном собрании помещать и прекрасные и фальшивые образы только потому, что те и другие написаны случайно рукой одного лица. Как будто этот случайный факт может быть положен в основу какой бы то ни было классификации. Это так же нелепо, как если бы мы стали

издавать «Полное собрание» сочинений, набранных рукою одного наборщика *).

Задачник мог бы оказаться между лирическим стихотворением и публицистической статьей.

Поэт—не автор своих стихов, во всяком случае не единственный и уж никак не главный автор, и делать его исходной точкой классификации так же безрассудно, как классифицировать животных по цвету кожи.

---

Поэтов часто упрекают в непоследовательности. Любят также говорить о «переломе». О Гейне, Толстом, Гоголе часто говорят в этом смысле. Обыкновенно это делают тогда, когда в собрании слов, выходящих под фамилией одного автора, находят мысли и образы, непримиримые друг с другом. Но кто же вас заставляет собирать в одну книгу несходное, а затем биться над разрешением неразрешимой задачи:

*) Если уж классифицировать, то «Утро помещика» следует скорее поместить в один том с «Рудиным», чем с «Войной и миром»; образ Платона Каратаева—с Лукерьей («Живые мощи») и т. д.

над примирением непримиримого, над объединением необъединимого? Кто вас заставляет держаться старого предрассудка, будто все, напечатанное подъ одним именем, исходит из единой души? Когда поймете вы, что миллионы людей участвовали в создании всякого образа?

---

Прекрасный образ не потускнеет оттого, что его поместили в ту же книгу, в которую помещены и плохие образы.

Глубокая мысль не станет менее глубокой оттого, что рядом с ней печатают глупую.

Если в книге вы встретите пламенные слова, выражающие благородные чувства так, что их должен заучить весь мир,—то какое дело вам до того, что на заглавном листе наборщик поместил имя человека, оказавшегося негодяем? Один негодный человек не может бросить даже слабой тени на великие слова, рожденные сложными усилиями многих.

Я не учу индифферентизму. Казните безнравственных людей, но как драго-

ценнейшее сокровище, храните лучшие слова, вынесенные человечеством. Если я скажу вам: «любите прекрасную книгу, хотя ее набирал наборщик, набиравший когда-то гнусную книгу»,— вы не скажете, что я учу индифферентизму.

Как не видите вы, что одна из величайших помех к пониманию поэзии— привычка искать единства в ряде слов, прикрепленных к одному имени только потому, что одной руке пришлось написать эти слова?

Недавно спорили о том, хороший или нехороший человек был Белинский, решали, был ли он чутким или нечутким критиком. Праздный спор! Как будто в зависимости от того или иного решения этого вопроса может повыситься или понизиться ценность хоть одной мысли, находящейся в собрании мыслей, издаваемых под его именем. Там есть удивительные идеи, и есть мысли тривиальные и наивные. Удивительное останется удивительным, тривиальное — тривиальным, независимо от того, благороден, талантлив,

или неблагороден и бездарен был Белинский. Да и нужно ли и возможно ли решать этот вопрос? Миллионы людей прошли по земле со времени Белинского, мы не задаемся этими вопросами по отношению к ним,—зачем же выделять некоторых?

---

Если поэтическое слово выражает душу поэта, то как могло бы случиться, что поэт произносит иногда слова, недостойные поэтической души? как мог бы Толстой произнести вздорное, Достоевский — человеконенавистническое, Пушкин—безнравственное слово?

---

Мне пришлось слышать доклад профессора Ф. Ф. Зелинского о Достоевском. Между прочим докладчик привел одно заявление Ницше. Автор «Заратустры» сказал, что чувствовал бы себя не по себе всю жизнь, если бы ему пришлось хоть раз не сдержать своего слова. (За точность передачи не ручаюсь, но мысль проф. Зелинского передаю верно.) Приведя это заявление, докладчик сказал: «эти слова Ницше не-

обходимо помнить всем, кто легкомысленно толкует об аморализме философа». Проф. Зелинский, приведя это заявление, доказал только, что Ницше был нравственно опрятным и честным человеком. Но опроверг ли проф. Зелинский тот факт, что самые пламенные гимны во славу аморализма, какие только мы знаем в литературе, помещены в книгах: «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла»?

---

Многие убеждены, что в поэтическом произведении выражается душа поэта.

Душа поэта, как и душа всякого человека, не может выразиться в словах.

Об этом прекрасно говорит Метерлинк:

«Души беседуют друг с другом беззвучно. Жесты и слова больше ничего не значат, и почти все решается силою простого присутствия. Человеку не объяснить, откуда он узнал человека, впервые вошедшего в его комнату, но он уже отягчен неоспоримой уверенностью. Уста или язык настолько же могут олицетворять душу, насколько

надпись или номер каталога, напр. картину Мемлинга. Когда нам действительно нужно сказать что-нибудь друг другу, мы вынуждены молчать. Молчание—это стихия, полная неожиданностей, опасностей и счастья, в которых души свободно отдаются друг другу. Если вы действительно хотите отдаться друг другу, молчите. Среди нас те, кто умеет говорить наиболее глубокомысленно, сильнее всех чувствуют, что слова никогда не выражают действительных отношений между двумя существами».

Тютчев говорит то же:

Как сердцу высказать себя.
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

То же говорят все поэты.

Душа поэта в своих проявлениях ничем не отличается от души другого человека. Она без слов ясна созвучной душе.

В словах ничья душа не определима. Я знал жену и сестру одного поэта. Они обожали его, следили каждый шаг его жизни, знали почти наизусть его

произведения, знали большинство и других слов, которые ему приходилось произносить в своей жизни, Я спрашивал их о душе его. Они изобразили две совершенно несходных души. Известный критик, который так любит искать душу автора в его произведениях, написал статью об этом поэте. Это была душа, непохожая на две порвые.

Так бесполезно определять словами чью-либо душу, даже душу близкого человека. А ведь есть наивные люди, которые пытаются определить души давно умерших поэтов.

## О ФЕТИШИЗМЕ.

Вскоре после смерти Озолина, начальника станции Астапово, доброго человека, приютившего умирающего Толстого, кто-то высказал мысль о том, что необходимо увековечить память лица, давшего последний приют великому писателю. Я уверен, что на той же дороге, на которой стоит Астапово, служат немало лиц, столь же добрых, как и Озолин. Не воздвигайте

памятников отдельным людям. Толстой неохотно разрешал писать с себя портреты: он не любил идолопоклонства.

---

Не осуждайте людских слабостей, но еще больше бойтесь превозносить людские слабости. Не читайте банальных и ненужных нравоучений, если видите пьяного простого человека. Но не ищите высшего смысла и при виде пьяного поэта. Пожалейте одинаково и того и другого. Если затеют драку два поэта, то не думайте, что в ней непременно должно заключаться нечто, чего нет, напр., в драке двух мужиков. Часто в этой последней больше смысла, чем в той.

---

Тысячи людей ссорятся с своими женами, уходят от своих семейств. Почему вы заинтересовались ссорой Толстого с женой больше, чем другими? Конечно, образ Анны Карениной —великий художественный образ. Но разве отсюда следует, что в уходе Толстого из семьи таится больше значения, чем в уходе тех людей, которых

принято считать обыкновенными? Лучше всего не вмешивайтесь вовсе в чужие семейные дела, даже тогда, когда имя одного из членов семьи красуется на обложке книги, полной великих художественных образов.

---

Где-то, кажется, в Радищевском музее, в Саратове, я видел письменный стол и чернильницу Тургенева. Кому нужны эти облезлые и некрасивые вещи? Но когда я посмотрел на них и на прекрасные картины, висевшие в той же зале и оскорбленные их присутствием, я простил в конце-концов поэтам их искреннюю уверенность в том, что они—необыкновенные люди. Для того, чтобы устоять против нелепого поклонения, нужно быть действительно необыкновенным человеком. Для людей обыкновенных это непосильно.

---

Недавно сообщалось, будто в «Пушкинский дом» пожертвовано кольцо Пушкина. Один специалист, путем справок, пришел к заключению, что пушкинское кольцо было с маленькой бирюзой, тогда как в пожертвованном упомянутом

кольце вместо бирюзы светлый сердолик. Искомое кольцо Пушкин, по преданию, пожертвовал для домашней лотереи, устроенной Раевскими. Что заставляет людей тратить время на такие бесплодные занятия? Если это кольцо, как и всякие идолы, нужно для поддержания идолопоклонства, то не все ли равно, какой камень в нем? Мало ли людей жертвовали для домашних лотерей и более ценные вещи? Икона чудотворна, если есть верующие.

---

В некрологах одного известного писателя между прочим сообщалось, что покойный обладал мягким, приветливым и отзывчивым характером, необыкновенной простотой и другими свойствами. У меня был знакомый, в высокой степени одаренный этими же качествами. Но когда он умер, об этом нигде не писали.

---

Как-то я прочел, что Толстой послал свой рассказ, скрыв свое авторство, в разные редакции. Рассказ нигде не был принят. Когда редакторы узнали,

кто был автором рассказа,—не было предела их отчаянью. Говорят, Толстой искренне смеялся. Я не знаю, почему. Не принимая рассказа, редакторы руководились достоинством образов и ценностью мыслей, заключавшихся в рассказе. Возможно, что ошиблись или не отнеслись достаточно внимательно к рассказу. Но возможно, что они были правы. Помнится, что речь шла о некоторых почтенных органах. Разве не были рукою Толстого написаны некоторые неудачные образы и многие неверные мысли? Но менее всего заслуживает смеха отчаянье редакторов, когда раскрылась тайна псевдонима. В своем горе они платили дань заблуждению читателей, требующих от журнала не образов и мыслей, а «имен», они думали об интересах журнала, а не о литературе.

Мораль: уничтожьте «имена», и литература избавится от недоразумений и препон; красота образов станет ее единственной целью.

---

Удивительно бездарны всегда сборники, издающиеся с благотворительной целью: здесь уже все основано на «именах».

---

Если писателю пришлось записать одно прекрасное произведение, это вовсе не значит, что и все остальное, что напишет он, заслуживает особого внимания. Нет бессмысленнее фразы: «как ни плохо это произведение, но мы должны были остановиться на нем: ведь под ним подпись (следует имя какой-нибудь знаменитости)».

А как часто встречается эта фраза у критиков! Если бы критики могли думать только о произведениях и забыть о писателях,—сколько времени и сил было бы сохранено, сколько мусору было бы выброшено с полей литературы!

## ОБ УПАДКЕ ТАЛАНТА И О СЛАВЕ.

Часто говорят об упадке таланта. Еще чаще встречаются в некрологах писателей слова:

«Как много потеряла литература, какие произведения он мог еще подарить ей».

Писал писатель замечательные вещи и вдруг стал писать бездарные, и притом тогда, когда сам он еще в расцвете сил.

Объяснить это упадком таланта в сущности значит объяснить неизвестное при помощи его же самого. Это значит сказать: «он стал писать плохо, потому что стал писать плохо».

Если мы припомним, что великие образы создаются сложными коллективными усилиями, а не творческим актом одного, то и вопрос об упадке таланта придется поставить иначе. Мы ставим вопрос: «Почему данный писатель стал писать плохие произведения?» Нужно ставить такой вопрос: «Почему данному писателю, которому до сих пор приходилось записывать образы, важные или необходимые для общества, больше не приходится этого делать?»

Один министр десять лет управлял внутренними делами государства. Были

довольные и недовольные его управлением, но все отдавали должное его способностям и искусству. На одиннадцатый год враги министра, давно подкапывавшиеся под него, свалили его. Они посадили нового министра, а про павшего они, и вслед за ними многие, говорили, что он уже утратил свои способности и больше не способен управлять государством. И опять были довольные и недовольные, и опять «все признавали» способности нового министра, который разрешал все дела. Но этим занимались лица, причастные к внутренней политике. Что касается народа, то он ничего не заметил. Во внутренних делах страны законность и беззаконие остались в той же пропорции, что и раньше. Узнал об этом мудрец и сказал: «народ получает законности и беззакония столько, сколько ему нужно; смена министров значит очень мало».

Народ получает художественных образов столько, сколько ему нужно; смена поэтов значит очень мало.

Захватить возможность писать, как и вообще занять почетное положение,

это—дело энергии, ловкости, такта, удачи, случайности и. д. Результатом этих же причин является и утрата положения. Управление страной в широком смысле определяется данным уровнем развития и потребностей народа. Художественная литература в широком смысле определяется тоже духовным уровнем народа. Министр и поэт только заведующие. Заведующие сменяются, но эти смены—второстепенные факторы в истории развития как страны, так и литературы. Борьба писателей за власть в литературе имеет на литературу не больше влияния, чем борьба политичеких деятелей за власть—на жизнь народа.

Упадок таланта в большинстве случаев означает переход заведывания образами от одного к другому.

Вот почему и обычная фраза некрологов: «литература много потеряла с его смертью» в большинстве случаев не имеет смысла; нужные образы едва ли будут появляться в меньшем количестве с появлением нового заведующего.

Впрочем многие убеждены, что если бы Наполеон не родился, то жизнь сотен миллионов людей, рождавшихся и умиравших в Европе с тех пор, потекла бы совершенно иначе. Такие едва ли поймут то, что сказано выше.

---

Классики—поэты, пользующиеся наибольшей славой, но часто наименее читаемые,

---

До сих пор не все согласны в том, что Шекспир—автор шекспировских пиес. Что приобретет или потеряет человечество, если вопрос об их истинном авторе будет решен бесспорно?

---

Толстой и толстовство—два совершенно различных явления. Толстого больше всего читают те, кто менее всего занимается организацией его славы.

## О ПОЭТАХ, УМИРАЮЩИХ В НИЩЕТЕ.

Многие негодуют на то, что поэтов не ценят. Фофанов умер в нищете. Сервантес—в нищете и безвестности.

Можно указать случаи противоположного характера: перед Толстым, еще при его жизни, благоговел мир, Диккенс составил себе крупное состояние своими романами.

И те и другие случаи ничего не доказывают.

Негодование по поводу бедствий, переживаемых некоторыми поэтами, законно. Но оно законно не в большей степени, чем возмущение по поводу бедствий и нищеты, достающихся на долю большинству людей. Большая часть всяких бедствий—результат социальной неурядицы. При капиталистическом строе жизни умирают в нищете все кто не умеет бороться за существование в условиях этого строя. Поэты исключения не представляют. Можно своей рукой написать ряд гениальных художественных образов и в то же время уметь наживать богатства. Может случиться и так, что рука, написавшая художественные образы, принадлежит человеку, такой способностью не обладающему. Почему предполагают, что поэты лучше других должны уметь наживать богатства, и возмущаются, когда они умирают в бедности?

В условиях капиталистического строя художественный образ есть товар, как и всякая вещь, на которую существует спрос.

И общество оплачивает его, как и все товары, деньгами, славой, уважением. Дело наиболее ловких захватить эту плату. Иногда львиная доля достается написавшему, иногда издателю, иногда популяризатору, иногда подражателю и т. д. Эта борьба за блага, связанные с появлением образа, имеет очень отдаленное отношение к самому образу.

Скажут: это несправедливо, вся плата или главная часть ее должна принадлежать написавшему. Но ведь и антрепренер получает часто больше артистов, домовладельцы—больше архитекторов и т. д.

Это вопрос социальный, а не эстетический. Устройте так, чтобы люди не рвали друг у друга кусков из горла, —и поэты будут писать без мысли о заработке, не будут злобствовать друг на друга, как конкуренты, и будут писать только в силу внутренней потребности.

---

Поэт, не нашедший типографии, в наше время не поэт.

---

Артист. не нашедший подмостков, не артист,

## О ПОЭТАХ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ.

Нет ни одного общепризнаннаго поэта.

—«А Гомер, Данте?»

—Со времени Данте на земле рождались, жили и умирали миллиарды людей. Из них 99% прошли свой жизненный путь не слыхав имени Данте, из остальных —99% слышали о нем из вторых или третьих рук, и только 0,01%, т. е. одна десятитысячная часть всех живших с тех пор, может быть, читала его в отрывках или целиком.

Относительно Гомера процент «признающих» будет, вероятно, еще менее значителен.

—«Но те, кто читал Данте, соль земли, они выше не читавших».

—«Но будет день, когда Данте узнают все»

Ни первое, ни второе из этих положений не доказано. Кроме того, если когда-нибудь все человечество узнает Данте, мы не знаем, как оно к нему отнесется, какие критерии и требования установятся на месте нынешних.

---

Толстой прочел Шекспира и пожалел, что прочел.

## О МИНИАТЮРАХ ФУКЕ.

Во время войны было получено известие, будто погибли миниатюры Фуке в замке Шантильи.

Один художник, пламенный любитель искусства, по этому поводу несколько раз выступал представителем человечества: «...весь мир терпит от гибели миниатюр Фуке...», «от имени всего человечества мы вправе обратиться к французскому институту...» (А. Бенуа в газете «Речь»).

Я спросил сорок образованных и двух необразованных.

Из первых только двое слыхали об этих миниатюрах, тридцать восемь не знали об их существовании, и ни один не видел ни их, ни снимков с них. Что касается до необразованных, то все четыре слова: «миниатюры», «замок», «Шантильи» и «Фуке» были им непонятны и неинтересны.

Счастливцы, видевшие и могущие увидеть миниатюры Фуке, плачут, но их слезы непонятны девяноста девяти сотым человечества. Впрочем, и этим плачущим счастливцам так же мало доступны слезы девяноста девяти сотых.

Если эстеты думают о человечестве, то только с одной стороны: они хотят наделить его своими вкусами, или, как они наивно и часто искренне убеждены, «поднять его до себя».

Если бы все, кто стремится «поднять», могли бы «спуститься» к массам, тогда не пришлось бы оплакивать миниатюр Фуке: никто не стал бы стрелять в замок Шантильи, вернее, самые войны стали бы кошмарной легендой.

Нынешние эстеты—наивные гурманы Они едят утонченные блюда и искренне удивляются грубости и невежеству голодных, когда те опрокидывают эти блюда: голодные не подозревают при этом, что в опрокинутых сосудах источник не только наслаждения, но и утоления голода.

## О КАНТЕ И КРУППЕ.

Во время войны возник странный философский спор. Один философ доказывал, что Кант и Крупп выражают один и тот же принцип: первый —в философии, второй—в сфере материальных отношений. Другие философы утверждали, что между кантовскими идеями и крупповскими пушками ничего общего нет.

Обе стороны делали бесполезное дело.

Давно известно, что в любой стране найдутся люди сходные и люди несходные, как разными могут быть люди, носящие одно имя.

Солдаты, стрелявшие в реймский собор, не читали Канта, а Кант никогда не позаботился узнать душу солдата.

Какая же связь может быть между людьми, ничего не знающими друг о друге? Если они держатся одинаковых взглядов, это—случайность, если разных, в этом тоже нет ничего странного.

Единственный вопрос, который можно было поставить,—вопрос о том, почему кантовские идеи не предотвратили реймских выстрелов. Но ведь философы так же, как и поэты, заняты своим профессиональным делом. Инженер, строящий дивное по архитектуре здание, меньше всего думает о том, кто будет жить в этом здании. Философ и поэт, высказывая свои мысли, так же мало думают о том, многие ли смогут ими воспользоваться.

## О РАСПРЕДЕЛЕНИИ.

Кто радовался бы изобретению электрического освещения, если бы узнал, что для устройства его нужно уничтожить свечи, керосин и лучины? Яркий свет, радующий взор немногих, погрузил бы в темноту миллионы остальных. Решился ли бы кто-нибудь

сказать: «электрический свет так прекрасен, это такая великая самодовлеющая ценность, что им должно гордиться человечество»?

В применении к техническому прогрессу мы уже начинаем сознавать, что вопрос о распределении вновь добытого богатства важнее вопроса о самой ценности этого богатства.

Но по отношению к духовным богатствам огромное большинство еще и не подозревает всей важности вопроса о распределении. Здесь все считаются только с самодовлеющей ценностью идей и образов. Никому не придет в голову взглянуть на «Критику чистого разума» или на «Фауста» с этой точки зрения, задуматься над вопросом, не прошли ли они бесследно для жизни миллионов, а может быть даже и причинили им ущерб.

Утонченные переживания и глубокие мысли немногих покупаются нередко ценой духовной тьмы многих.

Метерлинк понял это и написал исполненные наивной жестокости слова: «Моралисту, стремящемуся стать

выше современности, необходимо отправляться от души счастливой или имеющей все данные для счастья... Мы живем на лоне великой несправедливости, но я думаю, что нет ни жестокости ни равнодушия в том, что иногда мы будем говорить, забывая эту несправедливость, иначе нам никогда не вырваться из ее круга. Нужно, чтобы хотя немногие из нас позволили себе говорить, думать и действовать так, точно все окружающие нас счастливы». («Мудрость и Судьба»).

Эта работа «немногих», оказывается, нужна не для выражения их души, не для самоуслаждения людей, считающих себя избранными. Оказывается, по Метерлинку, они стараются для человечества. Если они не будут вырабатывать духовных ценностей, то «какую правду, какое счастье, любовь и красоту найдут все остальные, когда судьба откроет перед ними общественные сады земли обетованной».

Итак, «судьба» сама рано или поздно откроет перед «остальными» «общественные сады земли обетованной».

Дело поэтов и других «немногих» готовить «счастье, любовь и красоту» к этому времени.

Метерлинк предвидит возражение «Можно было бы на это возразить, что лучше поспешить сперва «с наиболее неотложным», но ведь поспешить—еще не значит поступить мудро. Часто гораздо важнее устремиться ввысь... Если вода врывается в жилище голландского крестьянина, когда море или соседняя река прорвала плотину, защищавшую деревню, наиболее неотложным для него будет—спасти скот, провизию и утварь, но самое мудрое будет—итти бороться с волнами на вершину плотины, созвав на помощь тех, кто вверил жизнь этой зыбкой почве».

Вопросы:

I. Почему Метерлинк убежден, что, если «немногие» будут действовать по его рецепту, то мы рано или поздно вырвемся из «круга великой несправедливости»?

II. Возможность для «немногих» говорить и мыслить по Метерлинку не

основана ли на постоянном расширении круга «великой несправедливости»?

III. Согласятся ли «многие», или, по выражению Метерлинка, «остальные», ждать, пока немногие копят сокровища «счастья, любви и красоты»? Не приобщенные к ним и не понимая их ценности, не уничтожат ли они в один прекрасный день эти сокровища, не дождавшись того счастливого времени, когда судьба откроет перед их потомками «общественные сады земли обетованной»?

IV. Можно ли спокойно копить сокровища, живя постоянно под этой угрозой среди моря тьмы и невежества? Действительно ли сокровища чистой любви и красоты созидают «немногие», когда им приходится работать в круге великой несправедливости? Если только «счастливые» души, или «отправляющиеся от души счастливой или имеющей все данные для счастья» могут собирать сокровища любви и красоты, то не приходится ли этим избранникам затрачивать свои главные усилия на оберегание своего «счастья»

или «данных для счастья» от покушений «многих», и не остается ли вследствие этого слишком мало сил для накопления любви и красоты?

V. Есть ли действительное сходство между голландским крестьянином, идущим во время наводнения на вершину плотины, и современными счастливыми душами, устремляющимися ввысь? Для голландского крестьянина есть смысл итти на вершину плотины, так как речь идет о деле, общем для всех. Для современного человечества нет никакого смысла охранять ту «высь», где блаженствуют «счастливые души», потому что ему ничего не достается из этого блаженства.

VI. Что должен был чувствовать бельгийский мечтатель, когда толпы «многих» огнем и мечом смели с лица земли сокровища, накопленные избранными на его прекрасной родине? Он перестал беседовать с миром так, «точно все окружающие счастливы».

---

Не один Метерлинк верил, что спасение мира произойдет из красивых и тонких душевных переживаний «немногих».

Девизом не одного «избранного» могут послужить наивные слова Метерлинка: «И может быть достаточно, чтобы несколько мудрецов знали, как надо поступать, для того, чтобы все остальные люди поступали так, как если бы и они знали всю истину». («Глубокая жизнь» в «Сокр. смиренных»).

То же говорит О. Уайльд:

«Лишь гласом вопиющего в пустыне уготованы пути богов». («Замыслы»).

«Я думаю, что если бы кто-нибудь жил полной и совершенной жизнью, давая форму каждому своему чувству, выражение каждой своей мысли, действительность каждому сновидению,— я думаю, что мир получил бы такой свежий импульс к радости, что мы забыли бы все недуги средневековья и вернулись бы к эллинскому идеалу,— даже может быть к чему-то более тонкому и пышному, чем идеал эллина». («Портрет Дориана Грея»).

То же говорит Брюсов:

В моем самохваленьи служенье
богу есть,—
Не знаю сам, какая, и все ж я
миру весть.

---

Анекдот.

Говорят, однажды спросили мнения Рескина о прекрасном здании, чуде зодческого искусства.

— Мне не нравится оно: оборванец, стоящий возле здания, делает его безобразным.

---

Разговор.

— Говорят, московский художественный театр дал новое откровение своей постановкой Достоевского.

— Неправда. Никакого откровения не было, потому что у меня не было денег купить билет на этот спектакль.

---

Создания Эллады прекрасны, но явились ли бы они миру без рабов?

---

Рабы сделали возможным явление Петрония.

Прекрасно понял значение вопроса о распределении Гейне.

Простым языком рассказал он о немецкой философии. Он знал, что философы презрительно отнесутся к такому способу изложения философских идей.

— Но да благоволят они,—писал он,— подумать, что немногое сказанное мною выражено совершенно просто и ясно, тогда как их произведения, хотя и весьма основательные, неизмеримо основательные, весьма глубокомысленные, точно в такой же степени непонятны. Что пользы народу в теперешних хлебных амбарах, когда ключи от них не у него? Народ алчет знания и благодарит меня за кусочек хлеба, который я честно разделяю с ним. Я думаю, что не отсутствие таланта мешает большей части немецких ученых говорить популярным языком о религии и философии. Полагаю, что тут причиной боязнь результатов собственного мышления, которых они не смеют сообщить народу. Я не боюсь этого, потому что я не ученый, я сам народ. Я не ученый, я не

принадлежу к семистам мудрецам Германии. Я стою вместе с массою пред вратами их мудрости, и когда оттуда проскальзывает какая-нибудь истина, и когда эта истина доходит до меня, этого достаточно: я пишу ее красивым почерком на бумаге и отдаю наборщику, тот переносит ее в свинец и передает печатнику, печатник печатает ее, и тогда она принадлежит целому миру.

Да благоволят понять и поэты, что для народа имеют цену только те истины, которые проскальзывают к нему через врата мудрости; все остальные, может быть, очень ценны для поэтов, но народу не нужны.

## О НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЕЙ.

Писатели (как и все люди одной профессии) любят обличать друг друга в недобросовестности. Они никогда не сознаются, что профессиональные грехи—их общие грехи, и каждый стремится приписать отдельным членам сословия то, что неизбежно

в силу социального положения этого класса. Почему люди одной профессии так жестоки друг к другу, когда, казалось бы, профессиональные тиски каждый должен чувствовать особенно тяжело, и именно в этом случае быть снисходительным?... Почему, поражая конкурентов, они бьют именно по тем местам, которые являются больными местами и для них самих? Не потому ли, что они лучше знают больные места?

Писатели любят обвинять друг друга в непоследовательности, забывая, что идеи и образы рождаются в силу сложных коллективных творческих усилий, и вовсе не обязательно, чтобы один писатель непременно записал только согласующиеся между собою мысли, или чтобы его действия вытекали из записанного им.

Вы скажете: «коллективные сборники, издаваемые с благотворительной целью, обыкновенно бездарны».

Вам скажут: «а ведь вы сами печатались в таких сборниках».

Вы скажете: «образы и идеи нужно издавать без имен авторов».

Вам ответят: «зачем же вы печатаете свои произведения под своим именем?»

Толстой говорил: «нельзя быть богатым».

Ему говорили: «зачем же вы живете в богатстве?»

Как будто из того, что Толстой жил в богатстве, утрачивает свое значение мысль: «нельзя быть богатым». Кто считает себя в праве судить людей, тот пусть судит их, и как ни тяжело всем людям, в том числе и писателям, биться в тисках современной социальной неурядицы,— все-таки коллективные сборники останутся бездарными, и имена авторов на обложках книг будут мешать пониманию этих книг.

## О ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ.

В каждом художественном произведении скрыто повелительное наклонение.

Всякое слово, как бы ни казалось оно бесцельным, всегда имеет в виду воздействовать на чью-то волю.

Тем более имеет это в виду художественное произведение.

Вы скажете: есть художественные произведения, которые не преследуют никаких целей, кроме красоты. Умейте читать их, и вы всегда найдете там повелительные наклонения. Они часто скрыты под масками.

Повелительное наклонение — всегда цель. Все остальное — средство.

Повелительное наклонение — то единственное, что можно ненавидеть в художественном произведении.

Повелительное наклонение — то единственное, что остается в сознании масс от художественного произведения.

Если бы не было повелительных наклонений, нельзя было бы делать никаких обобщений и заключений относительно художественных произведений.

Все критики, все историки литературы, вообще все, кто хотят сказать что-нибудь свое о художественном произведении или о художественной литературе, бессознательно или сознательно стремятся раскрыть скрытое

в художественном произведении повелительное наклонение.

Достоевский в своей речи о Пушкине занят был только этой задачей по отношению к пушкинским произведениям.

То же сделал Гончаров по отношению к «Горю от ума», Белинский—по отношению ко всем писателям, о которых писал, и т. д.

Искать чего-нибудь другого в художественном произведении значит заниматься праздным делом.

## О КРИТИКЕ, ПУШКИНЕ И ПИСАРЕВЕ.

Поэты не любят критиков. Они правы в этом и не правы.

Они правы, когда думают, что критик ничему не может научить поэта: как можно писать по указанию критика?

Они правы, когда думают, что критик может повредить поэту. Действительно, он может повредить поэту, поскольку и поэт может повредить критику, поскольку всякий человек

может повредить другому человеку. Критик может содействовать тому, что поэту станут меньше платить, что упадет влияние поэта и т. д. Критик может разрекламировать другого поэта, содействовать его влиянию и пр.

Но поэты не правы, если воображают, что критик может хоть на йоту усилить или ослабить действие того или другого художественного образа, сделать его более или менее жизнеспособным.

Красота и яркость образов, а также их возникновение и распространение в массах не стоят ни в какой связи с влиянием, славой поэтов, а также с высотой получаемого ими гонорара.

Критик может нанести удар поэту, а не художественному образу. Нельзя критиковать или порицать художественное произведение или художественный образ. Всякий художественный образ есть одно из драгоценнейших приобретений человечества.

Бороться можно не с художесшвенным образом, а с скрытым в нем повелительным наклонением.

Появлению всякого художественного образа нужно радоваться, как великому дару.

Нужно радоваться ему даже тогда, когда вредно скрытое в нем повелительное наклонение. И в этом случае благословляйте его, потому что он ставит перед лицо ваше врага вашего.

Художественный образ никогда не может быть вредным, как не может быть вредным сознание.

Поэты любят говорить, что критики не могут оценивать поэтических произведений. Они правы по отношению к так называемой эстетической критике. Я не говорю уже о тех журнальных и газетных статьях, в которых критики заявляют: «это художественно» или «это нехудожественно». Я приведу отрывок о Пушкине из статьи чуткого к красоте критика, благоговеющего перед автором «Евгения Онегина». (Ю. И. Айхенвальд).

«Как бы не зная границ и концов, не ощущая далекого и прошлого, вечно настоящий, всюду сущий, всегда и всем современный, он (Пушкин) в этой сверх-

пространственности, сверхвременности переносится из страны в страну, из века в век, и нет для него иноземного и чужого. Овидий жил и страдал давно, но Пушкин пережил с ним эти страдания теперь и воскрешает в себе его тоскующий образ, и через вереницу столетий шлет ему свой братский привет. Та яркая панорама жизни, которая в чарующем разнообразии и блеске развертывается перед нами в несравненном послании к Юсупову, вся прошла в фантазии поэта, и еще с гораздо большей полнотой картин и красок; и то, чего недоставало Пушкину во внешних восприятиях,—он, себе на горе, не видел чужих краев, где небо блещет неизъяснимой синевой, он не видел Бренты и Адриатических волн,—все это восполнял он сказочной силой внутреннего зрения и пережил в своей душе все эпохи и страны, все культуры, и Трианон, и революцию, и рассказы Бомарше, и всю превратность человеческих судеб. Он претворил Ариосто в сказку, где русский дух, где Русью пахнет; он передумал Коран»... и т. д. и т. д.

Какое значение этого отрывка? Сказать нам, что послание к Юсупову „несравненно", что Пушкин всесторонен? Что он обладает такой богатой фантазией, что может легко переноситься в отдаленные страны и эпохи? Но кто читает и чувствует Пушкина разве для того не будут эти слова излишними, а кто не читает и не чувствует, разве для того не будут вдвойне излишними? В чем красота Пушкина, чем чаруют его стихи,—этому ни в приведенном отрывке, ни в других местах статьи мы не находим объяснения. Да и нельзя дать такого объяснения, как нельзя объяснить красоты. Последние строки приведенного нами отрывка в сущности есть только перечисление сюжетов (вернее, начало перечисления). Но разве такое разнообразие сюжетов доказывает всесторонность и богатство фантазии? Вместо пушкинских сюжетов можно было бы перечислить сюжеты любого романиста. Они могли бы оказаться еще более разнообразными, и все-таки его романы не имели бы ничего общего с путкинскими стихами.

По отношению к истинно прекрасным образам эстетическая критика незаконна. А о плохих образах, или вернее «не-образах» вообще не следует писать. Что могут сказать все критики, вместе взятые, о великой отзывчивости Пушкина после его маленького «Эхо»?

Образ, самый бесцельный и бескорыстный, всегда заключает в себе скрытую проповедь. И только эшой последней может заниматься критика

Образы в стихотворении Пушкина: «Пока не требует поэта» удивительны. Но скрытое в них повелительное наклонение может отталкивать. Поэтому негодование, вызванное повелительной мыслью, скрытой в них, может оказаться не менее удивительным, чем они сами. Потребность негодовать так же законна. как и потребность писать стихи. Так называемая «критика по поводу» — единственный вид критики, имеющий смысл. Только эша критика есть самостоятельный вид творчества; она исходит из того же источника, что и поэзия: из жизни. Она—сила, равноцен-

ная поэзии, потому что вместе с ней служит тому, чему служит всякое слово:—экономии наших сил в познании и в организации явлений.

Писарев наслаждался красотой пушкинских образов, вероятно, больше многих из тех, кто повторяет нелепую фразу: «Писарев не понимал Пушкина», или «Писарев отрицал Пушкина». Но Писарев был слишком умен, чтобы заниматься бесполезным делом: объяснять красоту пушкинской поэзии. Как все служители слова, он облекал в слово то коллективное, что требовало выражения, что восставало против повелительных наклонений, скрытых в пушкинских образах, что было враждебно им.

Что для своей цели Писарев выбрал пушкинские образы,—это доказывает, что он чуял великое художественное значение их, что они были для него высшим выражением враждебного его натуре направления воли. Верно или неверно понял Пушкина Писарев,—праздный вопрос. Пушкинские образы должны были многие воли направить в

нежелательную для него сторону. И он боролся,—таков долг писателя (если пользоваться обычной туманной фразеологией), или, вернее, таково то единственное, что может сделать писатель (если прибегнуть к более точному и простому языку).

Только в этом направлении критика может нечто прибавить к духовному богатству человечества.

Для понимания красоты пушкинской поэзии мне не нужны никакие заверения в том, что она прекрасна. Эти заверения всегда будут меньше того, что дает его поэзия.

В сфере интимных переживаний между людьми нет общего языка. Всякий по своему воспринимает космос—и не может в слове передать другому особенностей своего восприятия. А если есть одинаково воспринимающие, то они знают друг друга без слов. Об этом говорят сами поэты.

Только в сфере действования есть общий язык между людьми, существуют различные и сходные люди.

Вот почему повелительное наклонение есть единственное, о чем могут говорить между собою люди при чтении поэтического произведения.

## О ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ И МОДЕРНИЗМЕ.

Можно ли говорить о романтизме, модернизме и вообще о школах и направлениях в литературе?

Если иметь в виду поэтов и художественные произведения,—нельзя.

В самом деле, что общего между Ибсеном и Метерлинком? между Новалисом и Гюго? между «Брандом» и «Смертью Тентажиля»?

Даже поверхностное знакомство с биографиями упомянутых писателей свидетельствует о совершенно различных характерах.

Почему же Ибсена, Кнута Гамсуна, Метерлинка, Пшибышевского, Оскара Уайльда и т. д. восторженно приветствовали одни и не взлюбили другие? Почему в массах удержалось представление о них как о людях одного напра-

вления? Почему при слове «модернизм», «символизм», «декадентство» у обычного читателя возникает несколько определенных представлений и идей, как при слове: «романтизм» возникает представление о средневековом замке, о лунном свете, мечте и т. д.?

Если вы хотите найти это общее, это единственное, что остается для масс от всех направлений,—то ищите повелительных наклонений, и вы увидите, что массы никогда не ошибаются.

Нет поэтов одного направления. Нет произведений одного направления. Но есть проповедь, ведущая к одной цели, есть общее повелительное наклонение, отраженное в различных образах. Люди действительно объединяются не в мыслях, а в действиях. Часто одинаково мыслящие постигают лишь в действии, насколько чужды они друг другу. И как часто различно мыслящие узнают свое сродство лишь тогда, когда нужно избрать программу действий. Мыслить одинаково могут несходные, действовать одинаково — только сходные.

Мысль никогда не характеризует человека вполне, действие—всегда.

Модернисты едины в программе действий.

Вот главные пункты этой программы *):

*Первый.*

Люби только себя, выше всего цени глубину и яркость своих душевных переживаний.

---

*) Мне скажут: „В этих же книгах есть повелительные наклонения противоположного характера". Я скажу: „Умейте читать, и вы увидите, что это противоположное—только углубление и расширение изложенной здесь программы жизни: и иной не извлечете вы*.

Мне скажут: „Но у этих писателей есть не только повелительные наклонения; у них есть и другие мысли и образы". Я скажу: „Совершенно верно. Но простой человек ценит в писателе только учителя. Простой человек спрашивает только: „как жить по Метерлинку? Как действовать по Ницше? Ибсену?" Это знают и сами поэты: „Всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы указания жизненного пути". (А. Блок. Пред. к „Лирич. драмам").

Мне скажут: „Модернисты писали не для простого человека, они даже придумали для него презритель-

Штирнер: Я ничего не делаю—ни бога ради, ни человека ради; все, что я ни делаю, я делаю лишь ради самого себя. („Единственный и его собственность».)

Ницше: И кто называет «я» здоровым и священным, а себялюбие блаженным, тот, по истине, говорит, что знает он, как прорицатель: «Вот он приближается, он близок, великий полдень!». («О трояком зле», в книге: «Так гов. Заратустра».)

Ибсен: Одно у каждого есть достоянье,
Которым поступаться он не должен,—
Святыня «я» его—его призванье.

(«Бранд».)

Метерлинк: Нужно, чтобы каждый нашел для себя личную возможность жить

---

ные клички: люди, последние люди, многие, слишком многие, народ, толпа, гады, безмозглые бараны и т. д.". Я скажу: „Я знаю что модернисты были слишком изобретательны в выражении своего презрения к массам, знаю, что им никогда не понять, как невозможно делить людей на первых и последних. Но если модернисты писали не для простого человека, то и простой человек мыслит и говорит не для модернистов, он для себя и в своих интересах пользуется и имеет право пользоваться теми словами, которые печатаются и становятся его достоянием".

Мне скажут: „Но Ницше, Ибсен и пр. неповинны в том, что их не понимают, что толпа извлекает из их книг не то, что они хотели сказать". Я скажу:

жизнью высшей среди скромной и неизбежной действительности каждого дня. В нашей жизни нет более благородной цели. («Глубокая жизнь» в книге: «Сокровище смиренных».)

О. Уайльд: Цель жизни—саморазвитие. Выразить во всей полноте свою сущность—вот зачем каждый из нас живет... Люди не эгоистические всегда бесцветны, в них не хватает индивидуальности. («Портрет Дориана Грея».)

Пшибышевский: Я есмь я и в то же время собственный мир, и мне нет дела до того, соглашаются ли со мною или нет. («Homo Sapiens».)

---

„Ибсен, Метерлинк и пр. действительно ни в чем не виноваты. Но они и не занимают меня. У кого нет более сериозного дела, пусть занимается этими людьми. Я думаю, что самое важное—это как раз то, что извлекает „толпа" из слов и что она читает в них. И исследовать это—дело более плодотворное и нужное, чем копаться в „душах" нескольких человек".

Мне скажут: „Но кто может распоряжаться чужим имуществом, чужими мыслями и выставлять их в ложном свете?" Я скажу вам: „Это имущество не принадлежит тем, кого вы называете создателями его. Оно создано общими усилиями, а в ложном свете хотят выставить эти мысли как раз те, кто присвоили их себе".

Бальмонт: Все в этом мире тускло и мертво,
Но ярко себялюбье без зазренья:
Не видеть за собою никого!
(«Художник», в отделе: «Художник-дьявол»,)

Гамсун: Я хочу порвать с светом, я отсылаю ему кольцо обратно: я бродил как глупец среди других глупцов, я делал глупости, я даже играл на скрипке, и толпа кричала мне: «хорошо рыкаешь, лев». Мне делается тошно, когда я вспоминаю этот невыразимо пошлый триумф, когда мне рукоплескали людоеды.

Я не хочу конкурировать с каким-нибудь телеграфистом, я удаляюсь в Долину Мира и превращаюсь в мирного обитателя лесов, я поклоняюсь своему богу, распеваю песенки, делаюсь суеверным, бреюсь только во время прилива и сообразуюсь с криком тех или иных птиц, засевая свое поле. («Мистерии».)

Брюсов: Есть великое счастье — познав, утаить;
Одному любоваться на грезы свои;
Безответно твердить откровений слова,
И в пустыне следить, как восходит звезда.
(«Новые заветы».)

А. Белый: Мои мечты - вздыхающий обман,
Ледник застывших слез, зарей горящий,—
Безумный великан,
На карликов свистящий.

Ф. Сологуб: Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я—поэт. Косней во тьме, тусклая и бытовая, или бушуй яростным пожаром,— над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну тво-

римую мною легенду об очаровательном и прекрасном. («Навьи чары».)

А. Блок: Самое большое, что может сделать лирика,—это обогатить душу и усложнить переживания... Никаких идейных, моральных или иных выводов я здесь не делаю. (Предисловие к «Лирическим драмам.»)

*Второй.*

Смотри на людей, как на средство к достижению указанной выше цели. Люди—лишь материал для обогащения твоего «я». Презирай и ненавидь их заботы и тревоги, или будь к ним равнодушен.

Штирнер: К чему сводится мое отношение к миру? Я желаю насладиться им, поэтому он должен стать моей собственностью, и в этих видах я хочу завоевать его. («Единственный и его собственность».)

Ницше: Но некогда спрашивал я и почти давился вопросом своим: как, неужели для жизни н у ж н а толпа?
Жизнь есть источник радости, но всюду, где пьет толпа, все родники бывают отравлены. («О толпе», «Так говорил Заратустра».)

Ибсен: Бессмысленно то учение, которое вы приняли от прадедушек и которое вы проповедуете направо и налево,—учение, что масса, чернь, серая толпа, составляет ядро общества, что это и есть сам народ. («Враг народа».)

Метерлинк: Мы живем на лоне великой несправедливости, но я думаю, что нет ни жестокости, ни равнодушия в том, что иногда мы будем говорить, забывая эту несправедливость, иначе нам никогда не вырваться из ее круга. Нужно, чтобы хотя немногие из нас позволили себе говорить, думать и действовать так, точно все окружающие нас счастливы. («Мудрость и Судьба».)

Пшибышевский: Ты хочешь дать им правду?—Они живут ложью.—Ты несешь им любовь? Их сила—в ненависти! Ты даришь их светом? Они на свету погибают. Их стихия—мрак. («Вечная сказка».)

О. Уайльд: Но кто-нибудь должен был бы разъяснить им, что хотя, с точки зрения общества, Созерцание—величайший грех, какой только может совершить гражданин, все же, с точки зрения высшей культуры, это—естественное занятие. («Замыслы».)

Гамсун: Мне противны люди, эти средние обыватели, живущие в мизерных трехэтажных домах, «благодушествующие за тодди и выборной политикой и изо дня в день торгующие зеленым мылом, медными гребенками и рыбой», падающие на колени и читающие молитвы в страхе перед громом и молнией. («Мистерии».)

Бальмонт: Я проклял вас, люди.
Живите впотьмах,
Тоскуйте в размеренной чинной боязни,
Бледнейте в мучительных ваших домах,
Вы к казни идете от казни.
(«В домах».)

Брюсов: Я чужд тревогам вселенной.
(«Как царство белого снега».)

Сологуб: Быть с людьми—какое бремя!
О зачем же надо с ними жить!
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить...
(«Быть с людьми»).

Блок: Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят:
Кругом о злате и о хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит,--и внемлет крикам
И зрит далекие миры...
(«Стихи о Прекрасной Даме», LXXIV.)

*Третий.*

Будь враждебен идее соглашения между людьми и всему, что создано путем соглашения. Саморазвитие и полное выражение личности несовместимы с учреждениями и идеями, на которых лежит печать коллективного творчества. Пусть будут ненавистны тебе все виды общественной деятельности, всякие партии, союзы и организации, все формы государства—от абсолютной монархии до демократии, всякое равенство, все формы религии, всякий закон, всякое право, справедливость, гуманность, мораль, логика как

свод общеобязательных законов мышления, наука как свод общеобязательных понятий о мире, разум, рассудок, даже слова в их общеупотребительном значении,—словом все, что так или иначе служит ограничению личности в интересах общества.

И напротив того, люби все, что помогает уйти от жизни, не принимать действительности, что усыпляет общественные инстинкты, укрепляет в нечувствительности к общественным требованиям и человеческому горю. Люби эгоизм, одиночество и разрушение, люби вымысел, фантазию, красоту и искусство, изображающее несуществующий мир, следуй инстинкту, люби женщину и любовь, преклоняйся перед всеми формами разврата и извращений, перед всеми видами опьянения, люби каприз, безрассудство, иррациональные движения души вплоть до безумия, беспорядочные слова, не скованные логикой и смыслом. Словом, из того, что разбросано перед человеком в современной жизни, выбирай то, что содействует остроте и яркости твоих

душевных переживаний и позволяет не считаться с миром.

Штирнер: Прислушиваться к голосу бога, совести, долга, закона и т. д.—все это чепуха, которой начинили вашу голову и ваше сердце для того, чтобы сбить вас с толку.

Политическая свобода означает, что polis, государство, свободно; религиозная свобода означает, что религия свободна, подобно тому как и свобода совести означает, что свободна совесть; следовательно, это не значит, что я независим, свободен от государства, от религии, от совести, или что я *избавился* от них. Это не значит, что я свободен.

Как сможете вы быть едиными, если вас сплачивают какие-нибудь узы?

Всякое государство есть деспотия, независимо от того, сколько в нем деспотов, один ли только, или много, или в нем, как в республике, господствуют все поголовно, причем один деспотизирует другого.

Как собственник и творец моего права, я и источником права признаю только себя, и никого другого: ни бога, ни государство, ни природу, ни человека с его „вечными правами" человека, ни божественное, ни человеческое право.

Общественное благо как таковое, не есть мое благо, оно есть только заключительная форма *самоотречения*.

Доколе существует хотя одно учреждение, которого не смеет „касаться" отдельный человек, дотоле самобытность и самопринадлежность моего я останутся пустой мечтой.

Какое дело мне до партии? У меня найдется достаточно людей, с которыми мне можно будет сближаться, не принося присяги верности тому или другому знамени.

...невозможно действовать самобытно, не действуя безнравственно...

Тысячи старых дев, поседевших в добродетели, не стоят даже единой вольной гризетки. («Единственный и его собственность»).

Ницше: Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько слабости.

Добродетелью считают они все, что делает скромным и ручным: так превратили они волка в собаку и даже человека в лучшее домашнее животное.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Оно холодно лжет, и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, составляю народ».

Государство там, где все, добрые и плохие, теряют себя.

«Ты не должен грабить! Ты не должен убивать»!—такие слова назывались некогда священными; перед ними преклоняли колена и головы и к ним подходили разувшись. Но я спрашиваю вас: когда на свете было больше разбойников и убийц, как не тогда, когда слова эти были особенно священны? Разве в самой жизни нет грабежа и убийства? И считать эти слова священными разве не значит—убивать самое истину? Или это не было проповедью смерти—считать священным то, что противоречило всякой жизни и убеждало

не жить?—О братья мои, разбейте всякие скрижали!

Я не хочу, чтобы меня смешивали или отожествляли с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит ко мне справедливость: «люди не равны». И они не должны быть равны! Чем была бы любовь моя к сверх-человеку, еслибы я говорил иначе?

Я призываю вас не к работе, а к борьбе. («Так говорил Заратустра»).

...Демократизация Европы клонится к произрождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова...
(«По ту сторону добра и зла»).

Ибсен. Гуманность—вот бессильное то слово,
Что стало лозунгом для всей земли.

---

И знать того я чувства не хочу,
Которое зовут любовью люди.

---

До вас здесь каждый был лишь прихожанин,
Теперь стал личностью. А государству
Такой порядок не с руки...
...Закон велит считаться
С потребностями, с нуждами страны.
Во имя их и надо обуздать
Особенности личные свои,
Не возвышаться и не выдвигаться,
Но слиться с общей массой незаметно.
(«Бранд».)

Что за беда разорить лживое общество?

Его надо стереть с лица земли! Живущих во лжи надо истреблять, как вредных животных. И если дойдет до того, то я от всего сердца скажу: да будет опустошена эта страна, да сгибнет весь этот народ! («Враг народа».)

Опаснейшие среди нас враги истины и свободы—сплоченное большинство (»Враг народа».)

Метерлинк: Мы приближаемся к какому-то неизвестному преображению молчания, и *великое позитивное,* царившее до сих пор, подходит, кажется, к концу.

Слова никогда не объясняют настоящих отношений между людьми.

...Все слова сходны, молчания всегда различны...

Мы обмениваемся словами лишь в те часы, когда не живем, в те мгновения, когда не имеем желания замечать наших братьев, когда чувствуем себя на большом расстоянии от реальности.

Душа может остаться чистой даже посреди страшного убийства. Иногда она превращает во внутреннее просветление то зло, при котором принуждена присутствовать.

Человек совершает преступления, которые могут быть сочтены самыми низкими, а между тем тягчайшие из них не в силах исказить хотя бы на один миг атмосферу свежести и бестелесной чистоты, окружающей его присутствие: в то же время близость мученика или мудреца может окутать нашу душу тяжелыми и невыносимыми сумерками.

Можно не быть ни добрым, ни прекрасным, ни благородным среди величайших жертв, и у сестры милосердия, умирающей у изголовья тифозного, может быть мстительная, мелкая и жалкая душа.

Женщина приближает нас к преддверью нашего существования, они (женщины) сохраняют на земле, как ненужную небесную драгоценность, чистую сущность вашей души, и еслибы они ушли, разум одиноко царствовал бы в пустыне. («Сокровище смиренных».)

О. Уайльд: Желание делать другим добро дает обильный урожай глупцов.

...Из всех поз моральная—самая неприличная...

Гуманитарное движение воюет с природой, поддерживая переживание неудачников, и это одно может заставить человека науки возненавидеть его легкие добродетели.

...Не достигают своей цели эти филантропы и сантименталисты наших дней, всегда болтающие человеку об его обязанностях к соседу. Развитие расы зависит от развития личности...

Жизнь морочит нас тенями, как тот, кто показывает марионётки.

*Эрнест.* Значит, жизнь — банкротство? —

*Жильбер.* С художественной точки зрения, конечно.

Общество часто прощает преступнику; оно никогда не прощает мечтателю. Прекрасные бесплодные эмоции, которые возбуждает в нас Искусство, ненавистны в его глазах. („Замыслы".)

Единственный способ отделаться от искушения—уступить ему. («Портр. Дор. Грея».)

Большие надежды возлагались когда-то на демократию, но она оказалась не чем иным, как кровопусканием, которое народ делает народу для блага народа. («О социализме».)

Пшибышевский: Существует еще нечто, кроме глупого мозга, нечто, стоящее au delà мозга, какая-то неведомая сила, одаренная необыкновенными способностями, именно душа, — душа, которая чувствовала отвращение,—находится в постоянном соприкосновении с смешной банальностью жизни и, чтобы не проституировать себя каждый день, создала мозг. (Предисловие к «De profundis».)

...Да и наконец, я не могу сообразить, какого чорта ради должен я служить обществу, которое ни на минуту не подумало протянуть мне когда-нибудь руку помощи... («Сыны земли».)

Я не затем хочу разрушать, чтобы строить, чтобы строить снова на развалинах, а затем, чтобы разрушать. Разрушение — это мой догмат, моя вера, мой экстаз.

Злоба моя святей вашей любви, потому что любовь ваша исходит только из мозга. («Дети сатаны».)

С торжеством демократии настанет «царство лавочников, клеонов, кожевников и мужиков, которые ненавидят все прекрасное, все стоящее выше их».

Я природа: у меня нет совести, у нее тоже нет ее... у меня нет жалости, у нее также нет ее... Да, я сверх-человек. («Homo Sapiens».)

Так же, как я ничего не могу поделать против того, что, в продолжение всех средних веков, откровения души бывали исключительно в области религиозной жизни, так же мало могу я что-нибудь изменить в том факте, что в наше время душа проявляется только в отношении полов друг к другу. (Пред. к «De Profundis».)

В начале был пол. Ничего кроме пола и все в нем одном. («Requiem aeternam».)

Пол—вот основная ось всех явлений; утолить вечно растущие требования пола, удовлетворить жажду мести, узнать сокровенные силы, которые может дать половое счастье, вот причины, почему отдаются сатане. Но нет в этом счастья! Пусть! Но в царстве ночи, в пропасти и боли находишь опьянение и безумие. Бросаешься в ад, но попадаешь в безумие, в неистовствах которого можно забыть, забыться... День—это тяжелое грозное бремя жизни, страшное мучение необходимости жить, ночь—безумие, опьянение, забытье. («Син. Сат.»).

Гамсун: Я повсюду встречаю только одни препятствия, а между тем я все тот же, у меня те же силы, та же жизнь. Передо мной открыты те же возможности, я могу совершать те же дела; но почему же я вдруг остановился, почему для меня вдруг все возможности стали невозможными? Неужели я сам виноват в этом?... Нет, в это вмешивается свет, свет возмущается, свет находит, что это безумие. Свет говорит, что такой-то благоразумный человек и такая-то женщина

не поступили бы таким образом, следовательно, это безумие. И я стою один против всех.

Гладстон — это странствующий герольд права и справедливости. Голова его битком набита общепризнанными истинами. Что дважды два—четыре,—это для него величайшая истина в мире.

Хе, хе, облеченное доверием лицо в крошечном мирке Норвегии, человек, избранный народом для того, чтобы подавать реплики, участвуя в общей комедии страны и выступая с жевательным табаком за щекою в священном национальном костюме и бумажном воротнике, размякшем от честного пота. Прочь с дороги перед избранником народа! Посторонитесь, чорт возьми, чтобы ему было достаточно простора! О, господи боже ты мой, как эти круглые жирные нули увеличивают число.

Я чужой, я чужестранец в здешнем мире, я каприз судьбы, называйте меня как хотите.

... К чорту внутреннюю связь между явлениями...

... Для того, чтобы видеть это, нужно некоторое количество света, а для того, чтобы рассказать это, нужно обладать мозгом, зараженным безумием. («Мистерии».)

Бальмонт: Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся земля с борьбой своей.
Я—облако, я—ветерка дыханье. («Лунный свет».)

Будь далека от земли и крылом белоснежным
Вечно скользи

В чистых пределах небесной стези.
Мыслям отдайся безбрежным,
Плачь и мечтай,
Прочь от земли улетай.

(«Аргули».)

Хочу несказанных мгновений,
Восторгов безумно-святых,
Признаний, любви песнопений,
Нетронутых струн золотых.

(«Я жду».)

Брюсов: „Три завета".
Первый прими: не живи настоящим.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему безраздельно, бесцельно.

Сологуб: И сокровенного все жду,
И с тем, что явлено, враждую.

(«Кругом обставшие».)

Преодолев тяжелое косненье
И долгий путь причин,
Я сам—творец, и сам—свое творенье,
Бесстрастен и один.

(«Преодолев».)

И верен я, отец мой Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал,
И ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю,
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю,
И соблазняя соблазню.
(«Когда я в бурном море».)

## ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА.

Не восхищайтесь подвигом ушедших вперед, пока существуют далеко отставшие.

Как ни заманчивы раскрывающиеся дали, пусть временами останавливаются приблизившиеся к ним и поджидают отставших,—иначе ни тем ни другим не достигнуть цели.

Ушедшие слишком далеко вперед для дела человечества вреднее и опаснее самых отсталых.

О, великие отсталые! они всегда поневоле помнят общее дело человечества. Но вы, ушедшие вперед, часто заменяете это общее своим частным делом.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.


*Стр.*

О гении и вожде . . . . . 9
О поэте . . . . . 12
О фетишизме . . . . . 20
Об упадке таланта по славе . . . . . 25
О поэтах, умирающих в нищете . . . 29
О поэтах общепризнанных . . . . . 32
О миниатюрах Фуке . . . . . 33
О Канте и Круппе . . . . . 35
О Распределении . . . . . 36
О непоследовательности писателей . . . 45
О повелительном наклонении . . . . . 47
О критике, Пушкине и Писареве . . . . 49
О повелительном наклонении и модернизме 57
Последняя глава . . . . . 78

# Государственное Издательство.
## МОСКВА—ПЕТРОГРАД.

**Оветт, А.** Итальянская литература. Перев. С. Соболевского. Стр. 351. Ц. 1 р. 60 к.

**Пушкинский сборник.** Памяти проф. С. А. Венгерова. Под ред. Н. В. Яковлева. Стр. 362. Ц. 3 р., на лучш. бум. Ц. 3. р. 50 к.

**Салтыков, К. М.** Интимный Щедрин. С. предисл Н. Мещерякова. Стр. 79. Ц. 70 к.

**Сборник Пушкинского дома** на 1923 г. Стр. 351. Ц. 2 р., на лучш. бум. 2 р. 50 к.

**Цвейг, С.** Ромэн-Роллан. Его жизнь и творчество. Перев. Г. Генкеля. Стр. 413. Ц. 1 р. 50 к

**Шагинян, М.** Путешествие в Веймар. Стр. 141. Ц. 1 р.

**Шенгели, Г.** Трактат о русском стихе. Ч. I. Органическая метрика. Стр. 181. Ц. 2 р.

**Шюкэ.** Немецкая литература. Стр. 254. Ц. 1 р.

---

## Торговый Сектор Государственного Издательства.

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площадь, Богоявленский пер., 4. Тел. 47-35.

ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28. Тел. 5-49-32

**МАГАЗИНЫ в МОСКВЕ:**

1) Советская площадь (под гост. „Дрезден"). 2) Моховая, 17 (под гост. „Националь"). 3) Большая Никитская, 13 (здание консерватории). 4) Никольская ул. 3. 5) Серпуховская площ. 1/43. 6) Кузнецкий мост, 12. 7) Лялин. пер. 11. 8) М. Харитоньевск. пер. 4.

**МАГАЗИНЫ в ПЕТРОГРАДЕ:**

1) Проспект 25-го октября (Невский), 28. 2) Проспект Володарского (Литейный), 21. 3) Проспект 25-го октября, 13.